ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

В. О. Ключевский

SHOUT
SHARE IT

Annotation

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.

«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.

Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

- Василий Осипович Ключевский
  - Н.И. Новиков
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

Василий Осипович Ключевский

Н.И. Новиков

Н. И. Новиков. *С портрета Д. Левицкого*

Его время. Полтораста лет прошло от рождения Н. И. Новикова, и идет 77-й год со дня его смерти. Теперь осталось очень мало людей, которые могли бы его лично знать и помнить. Мы можем только вспоминать о нем. Таким воспоминанием позвольте на несколько минут занять ваше благосклонное внимание. Ничего не скажу ни нового, ни даже цельного, а только из общеизвестного о Новикове напомню то, чем особенно можно и должно помянуть его.

Н. И. Новиков, собственно, не писатель, не ученый и даже не особенно образованный человек в духе своего времени, по крайней мере, сам он не признавал себя ни тем, ни другим, ни этим. Хотя он и писал, даже хорошо писал, и издал много ценного научного материала, и своею деятельностью много лет привлекал к себе сочувственное и почтительное внимание всего образованного русского общества, настоящим своим делом он считал издательство. На типографию и книжную лавку положил

он лучшие силы своего ума и сердца. Типография, книжная лавка – это не просвещение, а только его орудия. Но именно как издатель и книгопродавец Новиков сослужил русскому просвещению большую службу, своеобразную и неповторенную. Нам теперь трудно представить себе типографскую и книгопродавческую деятельность, которою можно было бы сослужить такую службу. Правда, и в наше время нелегкое и немаловажное дело дать в руки простому читателю, не любителю и не ученому, полезную и приятную книгу, попасть во вкус и потребности грамотного общества; в малограмотные времена Новикова это было во много раз труднее и важнее, чем теперь. Но Новиков по-своему понимал задачи печатного станка и повел свое дело так, что в его лице русский издатель и книгопродавец стал общественною, народно-просветительною силой. Постигшая Новикова катастрофа произвела на русское образованное общество такое потрясающее впечатление, какого, кажется, не производило падение ни одной из многочисленных «случайных» звезд, появлявшихся на русском великосветском небосклоне прошлого века.

Я наперед скажу, где причина такого небывалого на Руси явления, как могло получить такое значение скромное само по себе дело. Энтузиазм частных людей к делу народного образования, соединенный с чутким пониманием его нужд и недостатков и с расчетливым выбором средств их удовлетворения и устранения, – вот что особенно вспоминаем мы, собравшись почтить воспоминанием 150-ю годовщину рождения Н. И. Новикова.

Вспоминая деятельность Новикова, я, прежде всего, должен говорить именно о нуждах и недостатках современного ему русского просвещения, т. е. придать своему воспоминанию несколько одностороннее направление, теневую окраску. Но тени сами собой отступают назад перед светлыми чертами, так ярко отразившимися в деятельности Новикова и его друзей, и мы получаем возможность видеть русское общество того времени с обеих сторон, лицевой и оборотной.

При мысли о Новикове невольно перебираешь в памяти целый ряд явлений в умственной и нравственной жизни русского общества с самого начала прошлого века – так тесно связана была издательская деятельность Новикова с ходом нашего просвещения, особенно с судьбою книги на Руси, с историей книжного чтения. Мы привыкли в своем представлении соединять просвещение с книгой, как с одним из главных его средств или пособий. Но в истории нашего просвещения был момент, когда средство начинало удаляться от своей цели, когда книга грозила

вступить во вражду с просвещением. Этот момент был дурным перепутьем между двумя великими реформами, какие вынесло русское общество в прошлом веке, между петровскою реформой порядков и екатерининскою реформой умов. Такой разлад между средством и целью подготовлен был некоторыми туземными и заносными (внешними. – *Прим. ред.*) условиями, действовавшими на состав и направление книжного чтения, каким питалось тогдашнее грамотное общество на Руси.

В Древней Руси читали много, но немногое и немногие. Этим чтением со строго ограниченным содержанием и направлением вырабатывались мастера-начетчики, которые знали свою литературу, свое божественное писание, как они ее называли, не хуже, чем «Отче наш…» или святцы. Такие начетчики не переводились у нас во весь XVIII век, не перевелись и доныне. Реформа Петра потребовала от высших служащих классов новых знаний, выходивших далеко за пределы древнерусского книжного кругозора, и заставила читать новые книги преимущественно учебного характера. Так как читали для ученья, а учились по долгу службы, то эта литература разновозрастных учебников не могла стать популярной ни в младших, ни в старших возрастах, не могла привить читателям внутренней потребности в ней, которая пережила бы ее внешнюю принудительность. Ведь любознательность ее записных потребителей поддерживалась более всего экзаменной проверкою и служебного ответственностью с энергическими последствиями той и другой, и, по мере того как со смертью Петра истощались эти деятельные писатели научного огня, гасла и самая любознательность и застаивались в пыли на полках все эти повелительно втиснутые Петром в руки временнообязанных читателей Пуффендорфии, Юсты Липсии, Кугорны, Девигнолы (Виньола), Гюйгенсы, Боргсдорфы, Бухнеры с их руководствами истории, политики, артиллерии, фортификации, с книгами *мирозрения* (космография), *марсовыми, архитектурными, союзными* и другими подобными. Было бы, однако, несправедливо утверждать, что эта сухая учебная литература бесследно свеивалась с обязанных учебною повинностью умов льготным временем ближайших преемников и преемниц преобразователя. Немного прочных знаний и отчетливых понятий умели почерпнуть из нее обязательные ее читатели, а их не обязанные службой сестры не почерпали никаких, ибо и не читали ее. Но тех и других она самым появлением и видом своим приручала к книге гражданской печати, освобождала от древнерусского страха перед ней, как перед аптечною банкой. И при всей скудости извлекаемого из нее научного содержания, все же мирила с ней

как с неизбежным злом на службе и в общежитии. И вот, приблизительно с половины царствования Елизаветы Петровны, на ниву русского просвещения, все более очищавшуюся от засаженных Петром тощих цифирных и технических порослей, пал, сначала редкими каплями освежительный дождь амурных песенок, усердно сочинявшихся доморощенными стихотворцами с легкой руки Сумарокова.

Д.И. Фонвизин

По крайней мере, современник Болотов, в своих записках под 1752 г., рассказывает, что «самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господствие», но таких песенок было еще очень мало, и «они были в превеликую еще диковинку», и потому молодыми барынями и девицами «с языка были не спускаемы».

Аза песенками полился поток назидательно-пресных мещанских трагедий и сентиментально-пикантных романов, в изобилии изготовлявшихся на Западе.

Колючая литература научного знания сменилась произведениями сердца и воображения, щекотавшими элементарные инстинкты, которые не нуждаются ни в подготовке, ни в поощрении. Из холодной и сухой области научной мысли, перескочив прямо в распаренную наркотическую атмосферу вольного чувства и образа, светски образованные люди так живо почувствовали разницу между тою и другою средой, что наука и беллетристика, долженствующие идти об руку одна с другой к одной цели – познанию жизни, в сознании этих людей стали непримиримыми врагами. Эти люди решили, что можно и должно вкушать сладкие плоды учения, отбрасывая его горький корень. Одногодки Новиков и Фонвизин молодостью своей попали в этот момент, и последний увековечил его в своем «Бригадире» (1766) коротким и выразительным обменом мыслей между двумя образцовыми продуктами этого момента, Советницей и Иванушкой:

– Боже тебя сохрани, – говорит первая второму, – от того, чтобы голова твоя была наполнена чем иным, кроме любезных романов! Кинь, душа моя, все на свете науки. Не поверишь, как такие книги просвещают.

– Madame! – отвечает ей Иванушка, – вы говорите правду. Я сам, кроме романов, ничего не читывал.

А какое направление преобладало в этих романах, потреблявшихся русскими советницами и Иванушками, видно из рассказа того же Фонвизина о том, как он, будучи еще студентом Московского университета, взамен гонорара за перевод басен Гольберга получил от московского книгопродавца целую кучу иностранных книг, «соблазнительных, украшенных сквернымиэстампами» и испортивших его воображение. Такие книги, очевидно, наиболее спрашивались тогдашнею светскою молодежью. Людям, чувствовавшим потребность порядочности, надобно было, подобно фонвизинскому Сорванцову, отговариваться в обществе, что они не ставят своего невежества себе в достоинство.

Титульный лист журнала «Живописен» 1772 г.

«Живописец» Новикова в 1772 г. скорбит о том, что романы раскупаются вдесятеро больше наилучших переводных книг серьезного содержания, да и было о чем скорбеть. Хороший роман служит прекрасным пособием для познания жизни тому, кто в нем ищет и находит художественное объяснение своих случайных и хаотических житейских впечатлений; для такого читателя роман – художественная иллюстрация действительности; без того и лучший роман – пустая игрушка воображения, лубочная картинка, лишенная своей истолковательницы – подписи внизу. Наших читателей и читательниц роман отучал от понимания действительности, заменяя им житейские опыты и наблюдения призраками, как детям куклы заменяют живых людей; подобно пушкинской Татьяне, они «влюблялися в обманы и Ричардсона, и

Руссо».[1]

Подготовленный любовными песенками вроде сумароковских или николевских, вкус романической публики быстро изощрялся, поддерживая возбуждаемость усталого литературного аппетита. Начинали строго добродетельным семейным романом во вкусе Ричардсоновой «Памелы», продолжали романом тоже довольно добродетельным, вроде «Клариссы», но уже с участием «Ловеласа», а кончали ничем не прикрытыми приключениями вроде тех эстампов, на которые жаловался Фонвизин. Самые заглавия романов вторили изощрявшимся вкусам: «Российскую Памелу, или Приключения Марии, добродетельной поселянки», сменяло «Геройство любви», или «Изображение великодушного любовника», а затем уже прямо следовала «Генриетта, или Гусарское похищение» в трех частях. Так народился у нас значительно разросшийся потом класс потребителей и особенно потребительниц романа, идиллически-мечтательный род петиметров и кокеток с кисейными чувствами и «с чепухою сладких слов», как выразился некогда Княжнин[2] овыведенном им в комедии «Чудаки» подобном продукте идиллии и романа. Жившие в России иностранцы с удивлением встречали в русском большом свете много дам и девиц, которые говорили на четырех-пяти языках, играли на разных инструментах иотлично знакомы были с произведениями известнейших романистов Франции, Англии и Италии. В этом знакомстве трудно искать любознательности, питавшей размышление. К этим дамам и девицам шло воззвание в переведенной тогда идиллии мадам Дезульер:

Овечки! Ни наук, ни правил вы не зная, Паситесь в тишине: не нужно то для вас.

Надобно сказать правду об этой идиллической чувствительности: для массы сердец она служила только приправой чувственности, не смягчая чувства. Мамаша, после обычной утренней расправы на конюшне с крестьянами и крестьянками, принималась за французскую любовную книжку и откровенно объясняла по-русски все прелести любви и нежности прекрасного пола своему тринадцатилетнему сыну («Живописец» Новикова).

Среди самого разлива этого чувственно-чувствительного чтения стало проникать в наше общество влияние просветительной философии. Может быть, нигде в Европе эта философия так наглядно, как у нас, не выказалась обеими своими сторонами, лицевой и оборотной. В нашей разреженной культуре, как в решете, сор мысли как-то сам собою отсеивался от ее зерна. После 28 июня 1762 г. у нас было немало умных и

благомыслящих людей, которые, становясь у дел, понимали, чем могут воспользоваться из содержания этой философии политика, право и общежитие, и русское законодательство стало провозвестником ее зиждительных идей. Но популярную силу этой философии составляли не столько планы построения нового порядка, сколько критика существующего, приправленная насмешкой. Наша модно образованная публика особенно понятливо воспринимала это критическое направление просветительной философии и не столько самую критику, сколько ее приправу. Подобно ночным мотылькам, которые ничего не видят при дневном свете, непривычные к размышлению умы слепо бросались на яркие парадоксы тогдашних esprits forts (усилие духа. – *Прим. ред.*) и на них сжигали последние остатки здравого смысла, уцелевшие от романов и идиллий.

Развинченное ими вольное чувство, встретившись с вольною смеющеюся мыслью, спешило устранить все сдержки и преграды и, прежде всего, набросилось на простейшие нравственные связи. «Не щадить отца – вот прямая добродетель века!» – восклицает Советница в «Бригадире», восхищенная скотским взглядом Иванушки на семейные отношения. В лице одного из героев «Чудаков», разбогатевшего самодура-дворянина из кузнецов Лентягина, Княжнин изобразил одного из этих выращенных новым духом времени и старыми нравами русских вольнодумцев, у которых протестующий философский смех перерождался в безразборчивое зубоскальство надо всем, а отрицание предрассудков – в забвение приличий. Словом, из свободы мысли выходило озорство почуявшего волю холопского темперамента. Тогда, по свидетельству Фонвизина, составлялись кружки молодежи, все философское упражнение которых состояло в богохульстве и кощунстве. Потеряв своего бога, заурядный русский вольтерианец не просто уходил из его храма как человек, ставший в нем лишним, а, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед уходом набуянить, все перебить, исковеркать и перепачкать.

Что еще прискорбнее, многими, если не большинством наших вольнодумцев, вольные мысли почерпались не прямо из источников, – это все-таки задавало бы некоторую работу уму, – а хватались ими с ветра, доходили до них отдаленными сплетнями из вторых-третьих рук. Какой-нибудь молодой Фирлюфюшков (петиметр в комедии Екатерины II «Именины госпожи Ворчалкиной»), воротясь из Парижа, проповедовал их доверчивым зевакам-сверстникам, или старый высокочиновный греховодник зазывал молодежь к себе на обеды, чтобы сообщить ей последние, самые свежие полученные из Парижа новости по части атеизма и

материализма.

Многим русским вольтерианцам Вольтер был известен только по слухам как проповедник безбожия, а из трактатов Руссо до них дошло лишь то, что истинная мудрость – не знать никаких наук. С просветительною философией у нас повторилось то же, что бывало с сентиментально-назидательною беллетристикой: мать пушкинской Татьяны была от Ричардсона без ума:

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла;
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.

Таким образом, открывалось неожиданное и печальное зрелище: новые идеи просветительной философии являлись оправданием и укреплением старого доморощенного невежества и нравственной косности. Обличительный вольтеровский смех помогал прикрывать застарелые русские язвы, не исцеляя их. Доисторические привычки и одичалые понятия, которые прежде припрятывались от глаз закона или которых стыдились перед добрыми людьми, как стыдятся неубранного домашнего сора перед гостями, теперь самодовольно выставлялись напоказ, как указание или требование природы. Новые идеи нравились, как скандалы, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерианца от законов Божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, кроме физических. Словом, этот смех становился для нашего вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую нравственную ответственность; да этот смех и там, кажется, был преемником, едва ли даже не был *натуральным сыном* этой самой индульгенции.

При каком угодно мнении о просветительной философии можно огорчаться таким ее употреблением. Порошин рассказывает в своих записках под 1765 г., как за несколько лет до того к одному московскому дворянину нанялся француз учить его детей французскому языку. После оказалось, что этот француз был вовсе не француз, а чухонец, и обучил он детей дворянина не французскому, а чухонскому языку. Нечто подобное тому, что

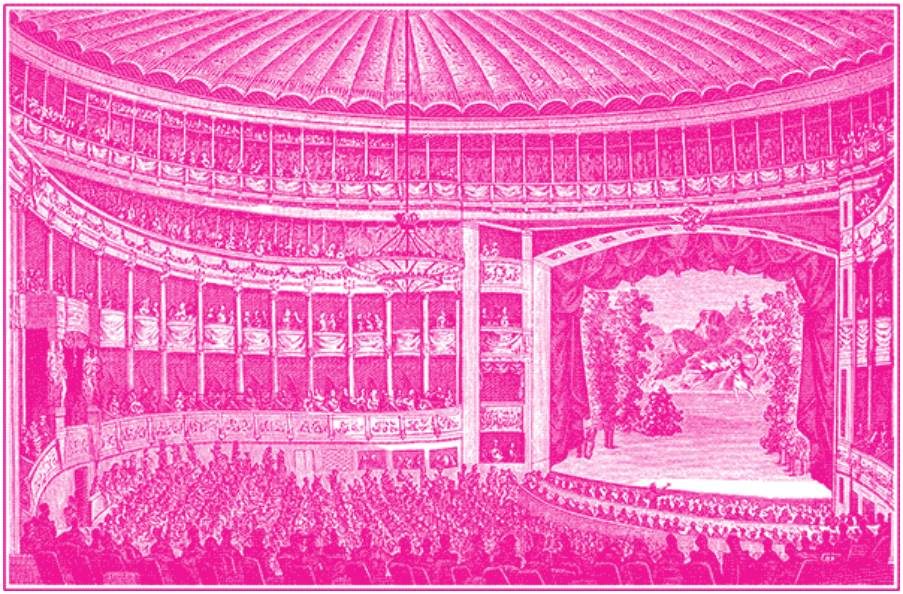
испытал здесь французский язык, случилось у нас и с французскою философией: многие наши вольтерианцы поступили с ней совсем по-чухонски, под фирмой ее идей выдавали свои собственные темниковские или судогодские измышления и недомыслия. Еще один ветхозаветный мыслитель сказал, что и мудрое слово в устах малоумного становится безумием. Направление русских умов, таким образом, воспринимавших просветительное влияние, становилось уже не усвоением европейской цивилизации, а болезненным расстройством национального смысла, не подготовленного к такому острому питанию. Привозные лекарства только растравляли старые туземные недуги, и приходилось лечить не только от болезней, но и от самого лечения.

Так книга, эта разносчица просвещения, стала ему помехой. В обеих литературах, беллетристической и философской, ставших у нас наиболее ходячими, наш просвещенный свет особенно охотно и успешно черпал лишь чувства и идеи, мало пригодные для частного, как и для общественного блага, только соблазнявшие сердце и ум своею вольностью или недозволенностью. В то время строгие судьи видели в таком направлении мысли и вкуса только недомыслие и безвкусие, слепое увлечение, и надеялись исправить грех, открыть слепцам глаза насмешкой. Случилось так, что в одно время с первою турецкою войной, с борьбой против внешних врагов европейской цивилизации, русские писатели снарядили целую экспедицию против внутренних недугов русского быта и просвещения.

Моды в России в 1779 г.

В продолжение 5–6 лет, пока русские войска поражали турок и татар на море и на суше, русские сатирические журналы громили и доморощенные, и завозные пороки русского общества. Сама императрица с несколькими обличительными комедиями вступила волонтером в это патриотическое литературное

ополчение под прозрачным вуалем всем знакомого неизвестного. Тогда двадцатипятилетним новобранцем выступил на литературно-издательском поприще и армейский поручик в отставке Н. И. Новиков, и его журналы «Трутень», «Живописец» и «Кошелек» по смелости и меткости своей сатиры стали решительно впереди всей фаланги сатирических изданий тех годов.



Вид зала Большого театра в екатерининское время

От журналов Новикова всего больнее досталось и зараженному французским влиянием модному русскому свету; «Кошелек» даже выступил специальным партизаном против этого влияния. В журналах Новикова встречаем едва ли не самые яркие изображения типических продуктов галломании, именно русской галломании, львов и львиц тогдашнего большого света, щеголей и щеголих или столь памятных петиметров и кокеток с их кукольною выделкой и невероятным нравственным одичанием, с ходульными каблучками, буклями в виде крылышек горлицы и до облаков взбитыми прическами, с разученно нежною вскидкой взглядов, с вечными разговорами о любви и с ненавистью к наукам, к книгам, кроме тех, в которых они находили, говоря их языком, «слог расстеганный и мысли прыгающие» и которые они «фелитировали без всякой дистракции». Что же вышло из этих благородных усилий русской сатиры? Есть основание опасаться, что она больше обогатила литературу, чем исправила нравы, научила добродетели только добродетельных.

В «Живописце» есть статья самого Новикова, передающая юмористическую беседу писателей в разных родах со своими

читателями. Между прочим, писателю комедий на его речи о нравственно-исправительном действии комедии читатель отвечает: «Знай, когда ты меня осмеиваешь, тогда я тебя пересмехаю». Нечто подобное, кажется, случилось и с русскою сатирой прошлого века. Даже более того: осмеиваемый шут, увидев свой карикатурный портрет на сцене или в сатирическом журнале, любовался им и хохотал не менее других зрителей.

Добрая половина столичного партера, аплодировавшего комедиям Фонвизина, состояла из подлинников или живых иллюстраций его художественных карикатур, по крайней мере, видела в них портреты своей близкой родни. Какою сатирой можно было донять фонвизинскую княгиню Халдину, которая любила одеваться при мужчинах? Она не находила ничего странного в том, что все ее дети уродились в друзей ее мужа, – ведь вмужниных же друзей, а не в каких-либо иных, поймите вы это, – и которая с гордостью добродетели говорила: «Мне стыдно чего-нибудь стыдиться»? Обличение бессильно против людей, которые, по выражению древнерусского летописца, *ни Бога ся боят, ни человека ся стыдят.* Удары негодующей сатиры безболезненно падали на наших великосветских щеголей и щеголих прошлого века, служа только возбудительным массажем для их износившихся в праздной суете или залежавшихся в сентиментальной апатии нервов. Более щекотливые надувались сердито, но не исправлялись. Что касается собственно вольнодумства как особого направления мыслей, сатирические журналы тех лет касались его лишь слегка, мимоходом, вероятно, потому, что оно не успело еще выделиться в такое направление из общего хаоса распущенных речей и мыслей. Впрочем, после, когда оно стало походить несколько на особое миросозерцание, обличение и на него не оказало заметного действия.

Зло, с которым боролась сатира, было ни слабостью, ни простым пороком, а нечто вроде порока сердца, т. е. болезнью, пороком просвещения, а болезни лечат, не осмеивают. Уж если злоупотреблять медицинским языком, эту болезнь можно назвать анемией общественного сознания и нравственного чувства, соединенной с неестественным отношением к окружающему. Общечеловеческая культура, приносимая иноземным влиянием, воспринималась так, что не просветляла, а потемняла понимание родной действительности: непонимание ее сменялось равнодушием к ней, продолжалось пренебрежением и завершалось ненавистью или презрением. Люди считали несчастьем быть русскими. Подобно Иванушке Фонвизина, утешались только мыслью, что хотя тела их родились вРоссии, но души принадлежали короне французской.

Такое направление умов в высшем обществе грозило немалыми опасностями. Еще вДревней Руси дворянство стало во главе русского общества как орган управления и землевладельческий класс. Петр Великий хотел упрочить и расширить это руководящее значение сословия, сделав его, по крайней мере, верхний слой его – дворянство столичное, еще и проводником западноевропейского просвещения в России. Но что бы это был за руководящий класс, который не понимает руководимого им общества и даже презирает его! Он сам себя осуждал на упразднение, и тогда русское общество очутилось бы в руках провинциальных Простаковых и Скотининых с их Митрофанами и Николашками, в 18 лет едва одолевавшими азбуку (в комедии Екатерины II «О время!»).

Болезнь была тем серьезнее, что происходила не от каприза или увлечения отдельных лиц, а от причин, которые коренились в исторически сложившемся положении всего класса. Иноземное влияние не встречало надлежащей подкладки в элементарном общем образовании, которое давало бы уменье воспринимать потребное, отбрасывая лишнее. Обязательная выучка дворянства совсем не давала такого образования, а модное гувернерское воспитание во многом было даже хуже простого невежества. Новая книга, попадавшая в руки взрослому просвещенному человеку, служила ему не дополнением, а заменой учебника. Новые идеи неслись поверх умов какими-то сухими туманами, застилая глаза и не освежая мысли, а только оставляя на ней сорный осадок в виде пустых фраз, дурных манер, непристойных выходок против общепринятого и т. п. Притом с освобождением от обязательной службы значительная часть дворянства поспешила избавиться от привычного, но надоевшего дела, для которого она училась, но не умела найти, да и не искала никакого нового общеполезного дела, стала праздной. Деловая цель образования исчезла из глаз, и книга стала только средством приятно наполнять пустоту праздного и бесцельного существования. Этим определились направление умов и вкусов, выбор чтения и идей, характер воспитания. Привычка учиться для службы не выработала в сословии внутренней потребности образования, а отсутствие сословного дела уничтожало и общественное побуждение к тому.

Наконец, тогдашний класс «просвещенных людей» составлял очень тонкий слой, который случайно взбитою пеной вертелся на поверхности общества, едва касаясь его. Отделенный от народной массы привилегиями, нравами, понятиями, предубеждениями, не освежаемый притоком новых сил снизу, он замирал в своих искусственных, призрачных интересах и никому не нужных

суетах. Не такими ли наблюдениями внушены были замечания одного иностранца (Макартнея), бывшего в России в начале царствования Екатерины II и писавшего, что русское дворянство самое необразованное в Европе? Русскому правительству труднее будет цивилизовать своих дворян, чем крестьян. Им лучше было бы не иметь никакого образования, чем иметь такое, какое им дается, потому что оно не может сделать их полезными для общества.

Правительство Екатерины II чувствовало эти недуги русского просвещения и принимало меры против них. Отсюда его настойчивая проповедь о необходимости воспитания, которое нравственно переродило бы общество, его усиленные заботы о закрытых воспитательных заведениях, о создании «третьего чина», или среднего сословия, которое стало бы, как в других странах Европы, носителем научного образования, питомником просвещения в России. И. И. Бецкий в своих докладах императрице указывал именно на отсутствие у нас восприимчивой среды, питательной почвы, к которой могло бы прикрепиться научное образование. Говорил, что люди, приобретавшие такое образование, скоро теряли его и возвращались в прежнее невежество по недостатку спроса и практики для их знаний.

Эти просветительные усилия правительства не были свободны от иллюзий и недоразумений. Спешили заводить закрытые воспитательные училища. А где же учителя и учебники, где книги для чтения, которые восполняли бы учебники и учительские уроки? Как, наконец, подготовить общество к приему перерожденных в новых училищах питомцев, чтоб они не тонули в темной массе и не возвращались в прежнее невежество?

Новиков прямо и смело пошел навстречу этим усилиям и недоразумениям. Неизвестно, как складывался его взгляд на свое дело. Новиков появился в литературном мире как-то вдруг, исподтишка, без заметной подготовки. Сын достаточного, но небогатого дворянина, 16-ти лет исключенный из дворянской гимназии при Московском университете «за леность», признававший себя и в старости невеждой, не знающий никаких языков. После восьми лет службы в гвардии он вышел в отставку армейским поручиком. С 1769 г., когда ему было 25 лет, последовательно выступал с тремя лучшими в то время сатирическими журналами, привлек к себе обширный круг читателей, стал известным литератором и издателем. В то же время и после выпустил ряд ученых изданий по русской истории и литературе, из которых некоторые, особенно «Древняя российская вивлиофика», сборник разнообразных памятников по

русской истории, изданный при содействии Екатерины II, доселе не потеряли своей ученой цены. Из впечатлений и размышлений, накопившихся в продолжение 10-летних литературно-издательских опытов в Петербурге, у Новикова, по-видимому, сложился ясный взгляд на то, что ему следует делать. С этим взглядом он в 1779 г. переехал в Москву, заарендовал на 10 лет университетскую типографию с книжною лавкой и принялся за дело.

ТРУТЕНЬ,
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ
ИЗДАНІЕ,
на
1769 годъ,
МѢСЯЦЪ МАЙ.
Они работаютъ, а вы ихъ трудъ ядите.
Г. Сумар. въ XLIII. притчѣ, I. книги.
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.

Титульный лист журнала «Трутень», 1769 г.

В 1792 г., разбитый постигшею его бедой, Новиков на допросе произвел на враждебного ему следователя впечатление человека острого, догадливого, с характером смелым и дерзким. Бесспорно, Новиков был человек умный и решительный. Труднее было заметить в нем еще одну черту, это – энтузиазм сдержанный

и обдуманный. У него было два заветных предмета, на которых он сосредоточивал свои помыслы, в которых видел свой долг, свое призвание. Это – служение отечеству и книга как средство служить отечеству. Если в первом сказывалась одна из лучших исторических привычек старого русского дворянства, поднимавшаяся в лучших людях сословия на высоту нравственного долга, то во взгляде на книгу надобно видеть личную доблесть Новикова. И до него бывали дворяне, посвящавшие литературе свой служебный досуг. В лице Новикова неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой, как его предки выходили с конем и мечом. К книге Новиков относился, мало сказать, с любовью, а с какою-то верой в ее чудодейственную просветительную силу. Истина, зародившаяся в одной голове, так веровал он, посредством книги родит столько же подобных правомыслящих голов, сколько у этой книги читателей. Поэтому книгопечатание считал он наивеличайшим изобретением человеческого разума.

На этой вере в могущество книги Новиков строил практично обдуманный план действий. Этот план был тесно связан со взглядом на недостатки и нужду русского просвещения, какой просвечивает в изданиях и во всей деятельности Новикова. Один из главных врагов этого просвещения – галломания, не само французское просвещение, а его отражение в массе русских просвещенных умов, то употребление, какое здесь из него делали. «Благородные невежды», как называл Новиков русских галломанов, сходились спростыми невеждами старорусского покроя в убеждении, что они достаточно все понимают и без науки, что, «и не учась грамоте, можно быть грамотеем». Значит, вольномыслие не от учения, а от невежества, и есть не более как легкомыслие. Всякий мыслящий человек, так писал Новиков в одном из своих журналов, чувствует сострадание, взирая на простодушных людей, которые беззащитно увлекаются надменными и остроумными мудрованиями, разрушающими основы человеческого общежития, или гнушаются всем отечественным, обольщаясь наружным блеском иноземного. Истинное просвещение должно быть основано на совместном развитии разума и нравственного чувства, на согласовании европейского образования с национальною самобытностью. В составе воспитания Новиков не отставлял разума на задний план, не ронял цены научного образования, как это делали иногда литературные и даже должностные педагоги того времени. Неосторожно было набрасывать тень на разум в обществе, где и без того многие им тяготились, воздерживать от увлечения

науками, которыми и без того не занимались.

А.П. Сумароков

Когда Сумароков в речи при открытии Академии художеств восклицал: «Воссияли науки – и погибла естественная простота, а с нею и чистота сердца», сколько госпож Простаковых готовы были аплодировать этим желанным словам, так легко и просто разрешавшим все их материнские муки со своими Митрофанами! Ведь Руссо у нас потому особенно и был популярен, что своим трактатом о вреде наук оправдывал нашу неохоту учиться. В «Живописце» Новиков насмешливо сопоставлял мудрость доморощенных философов донаучной чистоты с учением Руссо, говоря им: «Он разумом, а вы невежеством доказываете, что науки бесполезны». Новикову принадлежит честь одного из первых, кто заговорил у нас о разграничении заимствуемого и самобытного, о черте, за которую не должно переступать иноземное влияние.

В «Кошельке» 1774 г. восстает против мнения, что русские должны заимствовать у иноземцев все, даже характер, который у всякого народа свой особый. Не одной же России отказано, в нем и суждено скитаться по всем странам, побираясь обычаями у разных народов, чтоб из этой сборной культурной милостыни

составить характер, никакому народу не свойственный, а идущий к лицу только обезьянам.

Где же было найти у нас опору истинному просвещению? Такою опорой не мог быть большой свет ничему не хотевших учиться вольтерианцев и модных петиметров: здесь надобно было предоставить мертвым хоронить своих мертвецов. Екатерина с Бецким задумывали отнять у всего дворянства принадлежавшее ему с Петра значение хранителя и проводника европейского научного образования и передать это значение особому «среднему сословию», подобному французской буржуазии, сделав его специальным питомником наук и художеств. Но такого сословия не существовало в России, его еще надобно было созидать. Это была радикальная мера, хлопотливая и несколько самонадеянная. В ней сказался философский XVIII век, любивший кроить общество по своим идеям. Новиков думал, что удобнее кроить платье по плечу, чем выламывать плечо по платью. Он надеялся обойтись наличными средствами, не ломая общества: ведь легче издавать полезные книги для читателей из готовых сословий, чем создавать особое сословие для чтения полезных книг. Он рассчитывал не на средний род людей, которого у нас не было, а на средний круг читателей, и его расчет состоял в том, чтобы из грамотного люда разных сословий создать читающую публику. В этой среде он находил благоприятные задатки для успехов просвещения. Он сам на себе испытал ее значение для литературы: его «Живописец» выдержал в прошлом веке пять изданий.

Новиков объяснял такой успех журнала тем, что он пришелся по вкусу мещан, ибо, добавлял он, у нас те только книги четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые этим простосердечным людям, по незнанию ими чужестранных языков, нравятся. Всамом выборе чтения здесь можно было найти более просвещенного вкуса и любознательности: по словам Новикова, в числе любимых книг у мещан были «Синопсис», учебник русской истории, «Совершенное воспитание детей» и тому подобные книги, не пользовавшиеся никаким уважением просвещенных людей большого света.

«Имей душу, имей сердце», – проповедовала гуманная педагогика века, а это была прекрасная проповедь при бездушной школьной выучке и бессердечном вертопрашестве светской мысли. Но мало сказать доброе правило, надобно еще сотворить и научить, указать, как его исполнить, и подать пример исполнения. И в деле просвещения есть своя черновая часть. Сколько нужно понести пыли и грязи, чтобы вырастить хлебный злак? Современный сеятель просвещения, выходя на свою ниву,

находит много готовых вспомогательных средств для своего дела. Не говоря о широко распространенном сознании пользы учения, внутренней потребности образования в значительной части общества, об обильном запасе учебной и образовательной литературы, достаточно вспомнить одовольно налаженном типографском и книгопродавческом деле.

Правда, в книжном деле у нас и теперь бывают прискорбные недоразумения. Так, нередко книга и читатель ищут друг друга и не находят, как будто играют друг с другом вжмурки с завязанными глазами; порой появляются книги, которых некому читать, и есть охотники чтения, которым нечего читать. Во времена Новикова таких недоразумений было несравненно больше, а вспомогательных средств просвещения гораздо меньше, даже совсем мало. В единственной тогда университетской столице просвещения было всего две книжные лавки, годовой оборот которых не превышал 10 тыс. рублей; в провинции книга была редкостью и продавалась втридорога, на что жаловался сам Новиков; издательское дело велось так вяло, что не поспевало за спросом читателей простонародных романов и повестей вроде «Бовы Королевича» или «Еруслана Лазаревича», и были отставные подьячие, кормившиеся перепиской таких произведений. Новиков видел, что надо начинать дело с самого начала, с черновых вспомогательных средств просвещения, и, надев рабочий передник, не побрезговал подойти к типографской саже истать за пыльным прилавком книжной лавки.

В обществе, где, по сознанию самого новиковского «Живописца», даже звание писателя считалось постыдным, надобно было иметь немалую долю решимости, чтобы стать типографщиком и книжным торговцем и даже видеть в этих занятиях свое патриотическое призвание. У Новикова с энергией и предприимчивостью соединялась та добросовестность мысли, которая побуждает выбирать себе дело по наличным силам, не преувеличивая своих сил по внушениям затейливого самомнения. Этим отчасти можно объяснить его нелюбовь действовать одиноко, без товарищей. Зато он глубоко верил в могущество совокупного труда и умел соединять людей для общей цели. Именно на поприще народного образования обнаружил он это уменье собирать раздробленные силы в большое дружное дело.

Московский кружок Новикова – явление, не повторившееся в истории русского просвещения. Можно радоваться, что такой кружок составился именно в Москве, где особенно трудно было ожидать его появления. Про эту столицу русского просвещения, единственный тогда университетский город в России, Сумароков, конечно, в припадке капризного раздражения, писал, что там все

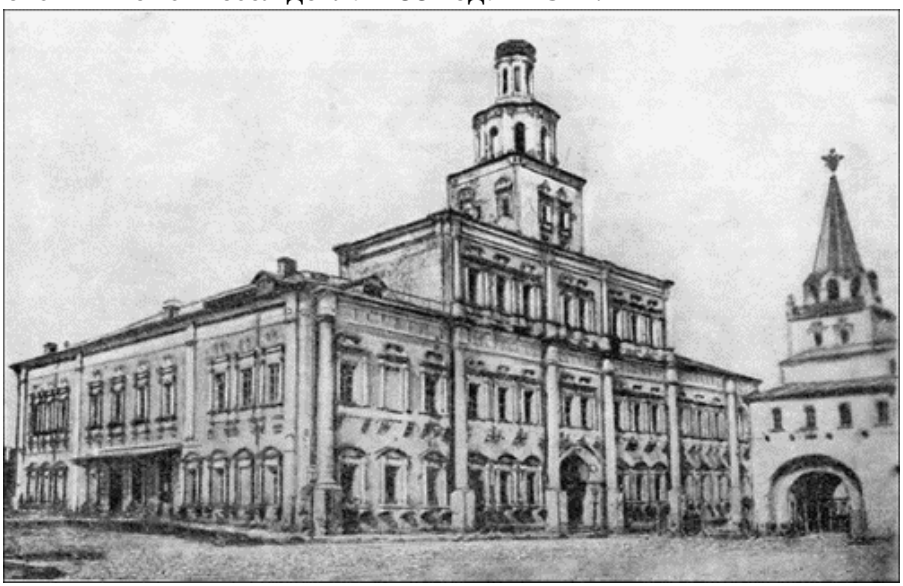
улицы вымощены невежеством «аршина на три толщиной». Правда, это был тогда город разнообразных крайностей. В его многочисленном дворянском обществе с довольно независимым, даже оппозиционным настроением, направляемым выброшенными из С.-Петербурга величиями, у которых прошлое было лучше будущего и которые потому бранили настоящее.

В обществе, где встречались носители всех перебывавших в России миросозерцаний от «Голубиной книги»[3] до «Системы природы» Гольбаха.[4] Так на одном и том же пиру за менуэтом иногда следовал доморощенный трепак, среди суетливого безделья и дарового довольства нашлось десятка два большею частью богатых или зажиточных и образованных людей, которые решились жертвовать своим досугом и своими средствами, чтобы содействовать заботам правительства о народном просвещении. Некоторые из этих людей стоят биографии и все – самого теплого воспоминания.

Из них рядом с Новиковым мне бы хотелось поставить прежде других И. В. Лопухина.[5] Чтение его записок доставляет глубокое внутреннее удовлетворение: как будто что-то проясняется в нашем XVIII в., когда всматриваешься в этого человека, который самым появлением своим обличает присутствие значительных нравственных сил, таившихся врусском образованном обществе того времени. С умом прямым, немного жестким идаже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством, отвечавшим мягкому и тонкому складу его продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые привычки или ежедневные потребности своего сердца. Читая его записки, невольно улыбаешься над его усилиями уверить читателя, что его любовь подавать милостыню – не добродетель, а природная страсть, нечто вроде охоты, спорта; с детства он привык любоваться удовольствием, какое поставлял другим, и для того нарочно проигрывал деньги крепостному мальчику, приставленному служить ему; во время его судейской службы в Уголовной палате, совестном суде и Сенате сделать неправду или не возражать против нее было для него то же, что взять в рот противное кушанье, – не добродетель, а случайность, каприз природы, вроде цвета волос. Все это очень напоминает красивую застенчивую женщину, которая краснеет от устремленных на нее пристальных взглядов и старается скрыть свое лицо, стыдясь собственной красоты как незаслуженного дара.

Мы, если не больше сочувствуем нашему высшему крепостническому обществу прошлого века, то лучше понимаем

его, когда видим, что оно, если не помогло, то и не помешало воспитаться в его среде человеку, который, оставаясь барином и сторонником крепостного права, сберег в себе способность со слезами броситься в ноги своему крепостному слуге, которого он, больной, перед причащением, в припадке вспыльчивости только что разбранил за неисправность. И в то время не на каждом шагу встречалась привычка во всяком Петрушке искать человека и во всяком человеке находить ближнего. А по другую сторону Новикова надобно поставить И. Г. Шварца,[6] по выражению Новикова, немчика, с которым он, поговорив раз, на всю жизнь до самой его смерти сделался неразлучным. Откуда-то из Трансильвании попав домашним учителем в Могилев, а оттуда в Москву на профессорскую кафедру в университете, Шварц полюбил приютившую его чужбину, как не всегда любят и родину, и посвятил ей все еще молодые силы своего ума, весь жар своего горячего сердца. Восторженный и самоотверженный педагог до тончайшей фибры своего существа, неугомонный энтузиаст просвещения, вечно горевший, как неугасимый очаг, и успевший сжечь себя дотла в 33 года жизни.



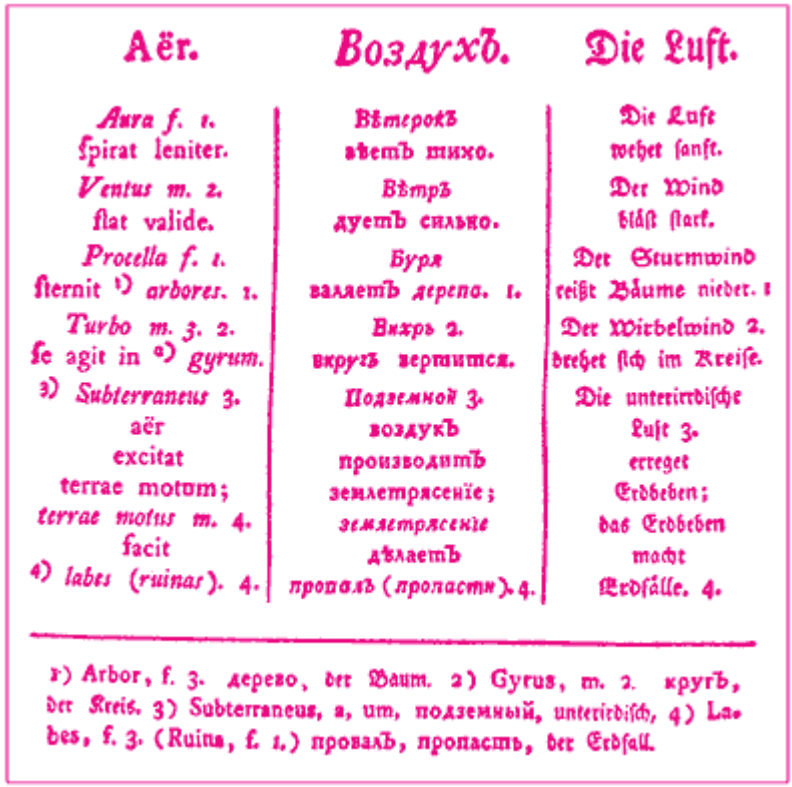
Первое здание Московского университета (ныне не существующее).

Рисунок XIX в.

Шварц будил высшее московское общество, где был желанным гостем, без умолку толкуя в знатных и образованных домах о необходимости составить общество для распространения истинного просвещения в России. Будил и университетскую молодежь своими одушевленными мистическими лекциями о

гармонии наук в изучении таинств природы, связи духа и материи, союзе между Богом и человеком, стремлении к свету и добру, познанию божества и внутреннего человека.

А для изображения С. И. Гамалеи,[7] правителя Канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалее подобает житие, а не биография или характеристика. Сомневаюсь, сердился ли он на кого-нибудь хоть раз в свою жизнь. Во всем мире только с одним существом он воевал непримиримо – это со своим собственным, его пороками и страстями, и какими страстями! – с нюханьем табаку, например, и т. п. Когда ему предложили обычную в то время награду за службу крепостными в количестве 300 душ, он отказался: ему-де не до чужих душ, когда и с своею собственной он не умеет справиться. Слуге, укравшему у него 500 руб. и пойманному, он подарил украденные деньги и самого его отпустил с богом на волю. Но он не мог простить себе ежегодной траты 15 руб. на табак, которую считал похищением у бедных, и постарался победить столь преступную привычку, обратив новое сбережение на милостыню. Блаженный в лучшем смысле этого слова, которого современники справедливо прозвали «Божьим человеком»!



Aër.	Воздухъ.	Die Luft.
Aura f. 1.	Вѣтерокъ	Die Luft
ſpirat leniter.	вѣетъ тихо.	wehet ſanft.
Ventus m. 2.	Вѣтръ	Der Wind
flat valide.	дуетъ сильно.	bläſt ſtark.
Procella f. 1.	Буря	Der Sturmwind
ſternit 1) *arbores. 1.*	валяетъ *дерева. 1.*	reißt Bäume nieder. 1
Turbo m. 3. 2.	Вихрь 2.	Der Wirbelwind 2.
ſe agit in 2) *gyrum.*	вкругъ вертится.	drehet ſich im Kreiſe.
3) *Subterraneus 3.*	*Подземной 3.*	Die unterirdiſche
aër	воздухъ	Luft 3.
excitat	производитъ	erreget
terrae motum;	землетрясеніе;	Erdbeben;
terrae motus m. 4.	*землетрясеніе*	das Erdbeben
facit	дѣлаетъ	macht
4) *labes (ruinas). 4.*	*провалъ (пропасти). 4.*	Erdfälle. 4.

1) Arbor, f. 3. дерево, der Baum. 2) Gyrus, m. 2. кругъ, der Kreis. 3) Subterraneus, a, um, подземный, unterirdiſch, 4) Labes, f. 3. (Ruina, f. 1.) провалъ, пропасть, der Erdfall.

Страница из учебника для начальных школ второй половины XVIII века

И другие члены кружка были проникнуты тем же новиковским или лопухинским духом; это были лучшие, образованнейшие люди московского общества: князья Трубецкие и Черкасский, И. П. Тургенев[8] и другие, между которыми и Московский университет имел своих представителей в лице куратора Хераскова[9] и нескольких профессоров. Среди этого товарищества просвещения и благотворительности радушною хозяйкой на Покровке и в подмосковном Очакове, самоотверженною пособницей и ободрительницей вкаждом деле и затруднении кружка являлась царившая в нем энергичная княгиня Варвара Александровна Трубецкая, урожденная княжна Черкасская. Одна из прекраснейших русских женщин прошлого века, у которой ни дух времени, ни светское образование, ни таланты и влияние на окружающих не ослабили силы и непосредственности христианского чувства. Надобно думать, что дух и состав кружка сообщали ему большую притягательную силу, если ревностным сподвижником его стал богач, скучавший жизнью от пресыщения ее благами, сын бывшего недоброй памяти петербургского генерал-полицмейстера, П. А. Татищев,

своим значительным вкладом давший возможность осуществить заветную мечту Щварца об основании просветительного общества. Другой богач, сын верхотурского ямщика и уральского горнозаводчика, Г. М. Походяшин, тронутый речью Новикова о помощи нуждающимся в голодный 1787 год, раскроил свое огромное состояние щедрыми пожертвованиями на дела просвещения и благотворения. Умирая в бедности, он услаждал свои последние минуты тем, что с умилением смотрел на портрет Новикова как своего благодетеля, указавшего ему истинный путь жизни.

Эта нравственная сила многим членам кружка далась не даром. Когда мы читаем признание Новикова, что он мучился сомнениями, находясь на распутье между вольтерьянством и религией, и не имел краеугольного камня, на котором мог бы основать свое душевное спокойствие, когда И. В. Лопухин рассказывает в своих записках, как он, быв усердным читателем Вольтера и Руссо и задумав распространять в рукописях свой перевод из восхитившей его «Системы природы» Гольбаха, вдруг охвачен был чувством неописанного раскаяния, не мог заснуть прежде, нежели сжег приготовленную к пропаганде красивую тетрадку вместе с черновой, и успокоился вполне только тогда, когда написал «Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями».

Когда мы читаем о подобных пароксизмах совестливой мысли, может быть, мы впервые застаем образованного русского человека в минуту тяжкого раздумья, какое ему не раз пришлось и не раз еще придется переживать впоследствии. Это раздумье, естественно, рождалось из самого положения русского образованного человека. Запоздалый работник в культурной мастерской, принужденный учиться у тех, кого должен был догонять, он уже в продолжение двух-трех поколений привык обращаться к западноевропейской мысли за советом, к общественному порядку, в котором эта мысль вырабатывалась, за опытами и уроками.

Но западноевропейский разум, вырабатывавший и эту мысль, и этот порядок, в прошлом веке потянуло в противоположные стороны. Фонвизин резкими чертами изобразил это раздвоение, когда писал из Франции в 1777 г., что там, при невероятном множестве способов к просвещению, весьма нередко глубокое невежество с ужасным суеверием. Одни воспитываются духовенством в сильном отвращении к здравому рассудку, адругие заражаются новою философией, так что встречаются почти только крайности – или рабство, или нахальство разума. В борьбе, возникшей из этого раздвоения, европейская мысль,

постепенно разгораясь и разгорячаясь, приняла отрицательное направление, из светоча превратилась в зажигательный факел и решительно пошла против служившего ей очагом общественного порядка.

Тогда русский образованный человек, если он притом был еще и человек мыслящий, почувствовал себя в неловком положении: служивший ему образцом строй понятий, чувств, общественных отношений был осужден как неразумный. Здание отечественной гражданственности, над которым он призван был трудиться, нельзя стало продолжать ни по старым образцам, ни по новым идеалам. В ожидании огромного крушения, не надеясь ничего найти на Западе для этой постройки, кроме раскаленной лавы да гнилых развалин, он вынужден был искать доморощенных средств. Но, видя вокруг себя умы, больше воспаленные, чем просвещенные новыми идеями, люди новиковского направления решили, что для улучшения общественного порядка каждый отдельный человек, пока не касаясь его оснований, должен обратиться к самому себе.

Сосредоточить работу на своей личности, на своем личном умственном и нравственном усовершенствовании, чтоб этой дробною мозаическою работой приготовить живой годный материал для будущего общества. Так понимал этих людей хорошо знакомый сними Карамзин: он называл их христианскими мистиками, пренебрегавшими школьною мудростью, но требовавшими от своих учеников истинных добродетелей и не вмешивавшимися в политику. Та же мысль о необходимости и достаточности личного усовершенствования для подъема общественного порядка высказывалась и в любимых книгах этих людей, и в их собственных признаниях.

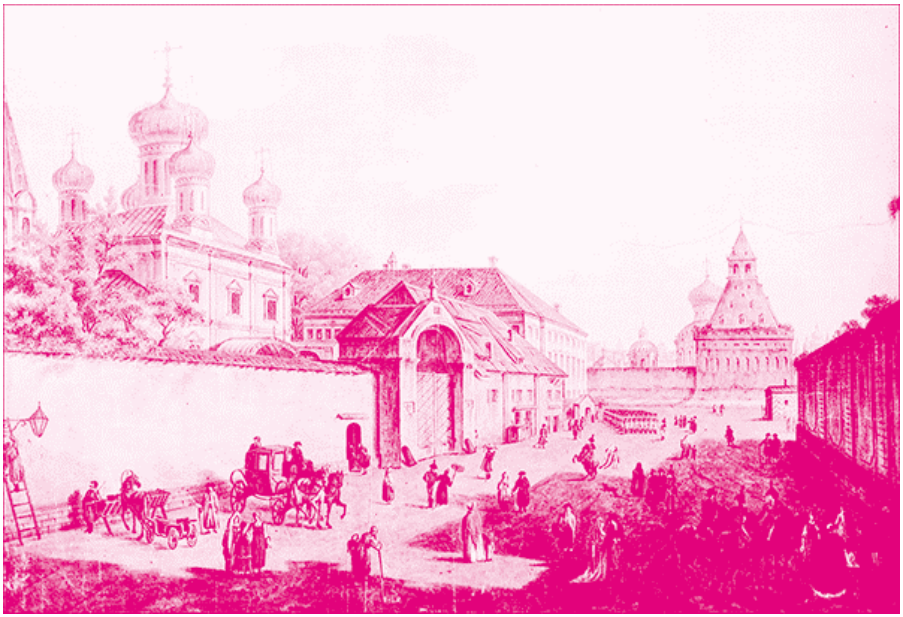
«В школах и на кафедрах твердят: люби Бога, люби ближнего, но не воспитывают той натуры, коей любовь сия свойственна», – это говорит И. В. Лопухин в своих записках, настаивая на необходимости для человека морально переродиться, чтобы сродниться севангельскою нравственностью и стать в христианские отношения к ближним, к обществу. А как эти люди считали возможным достигнуть такого перерождения и чего от него ожидали, о том читайте в книге английского моралиста Иоанна Масона о самопознании, переведенной членом кружка И. П. Тургеневым и кружку же посвященной.[10] Эта книга учит, что чем лучше мы себя познаем, тем с большею пользой занимаем то место в жизни человеческой, на какое мы поставлены провидением. Успехи в науке познания самого себя сопровождаются быстрым и счастливым изменением нравов и мыслей человеческих. Могут сказать, что в таком взгляде много

оптимистического самообольщения, что нравственный уровень обществ так же мало зависит от совершенства отдельных его членов, как мало поднимается температура окружающего воздуха от подъема ртути в термометре, который держит теплая рука.

Я и не вхожу в разбор этого взгляда, а хочу только отметить момент, когда, по моему мнению, образованный русский человек впервые почувствовал затруднительность своего культурного положения и как он пытался выйти из этого затруднения. Опять скажут: люди новиковского кружка нашли такой выход, потому что были масоны, мартинисты, и их христианские добродетели сильно омрачены этою сектантскою тенью.

Можно сказать и так, можно и наоборот. Они потому стали и масонами, что нашли такой выход из своего затруднения, больше масонствовали, чем были масонами. Они – воспользуемся их же фигурным языком – вступили в состав «малого избранного народа» вольных каменщиков только для того, чтобы самих себя переработать в пригодные камни для мысленного храма Соломонова, т. е. для будущего идеального русского общества. Что же касается их добродетелей, то я не берусь судить, насколько нравственная доблесть Гамалеи тускнела оттого, что он прикрывал ее от недоброжелательных людских глаз театральным рубищем какого-то масонства. Но когда я припоминаю, как отозвался о Новикове архиепископ Московский Платон, испытавший его в законе Божием по распоряжению императрицы и заявивший, что он молит Бога, чтобы не только в его пастве, но и во всем мире были такие христиане, каков Новиков, – у меня не хватает решимости искать пятен на христианстве этого мистика: ведь я не сумею быть православнее православного русского иерарха.

Вспоминая о Новикове и его сотрудниках, я хотел напомнить характер светского образования в России их времени, их взгляды на недостатки и нужды этого образования и на свойства истинного просвещения, их цели, планы и нравственные средства. Но мне едва ли необходимо подробно говорить о том, как они проводили свои взгляды, какие материальные средства вводили в свое дело, какие встретили препятствия и чего добились: все это, кажется, достаточно известно, и я могу ограничиться наиболее крупными чертами, не входя в подробности.



Ф. Алексеев. **Типография Н. И. Новикова на Лубянской площади.** *1800 г.*

План действий, как он обнаружился в предприятиях кружка и по частям был высказан в записках Лопухина и изданиях Новикова, можно изложить в таких чертах. Для успеха правительственных попечений о народном просвещении необходимо содействие частных лиц, соединяющих свои силы и средства с целью споспешествовать воспитанию юношества в полезных обществу науках; издавать книги, утверждающие корень чистой нравственности и добродетели. Для этого такие общества частных людей на свои средства, во-первых, устрояют пробные или образцовые учебно-воспитательные заведения, во-вторых, подготовляют надежных учителей и воспитателей при помощи университета и, в-третьих, разборчивым изданием книг и журналов создают самобытную, дельную печать для обширного круга читателей. Такими способами можно вывести русское просвещение из тесного круга оторванных от народа «просвещенных людей» модно воспитанного высшего дворянства в широкий мир «простосердечных мещан», простого грамотного люда, и обдуманным сочетанием общечеловеческих и национально-исторических элементов дать этому просвещению самобытный склад, который изменит дух общества, господствующее направление умов. Что было осуществлено из этого плана, который сам по себе есть уже немалая заслуга русскому просвещению?

Арендуя у Московского университета типографию и книжную

лавку, Новиков имел ввиду, прежде всего, потребности домашнего и школьного образования. Он старался, во-первых, составить достаточно обильный и легко доступный запас полезного и занимательного чтения для обширного круга читателей, во-вторых, войти в общение с университетом, чтобы воспользоваться его силами и средствами для приготовления надежных учителей. Расстроенную университетскую типографию он вскоре привел в образцовый порядок и менее чем в три года напечатал в ней больше книг, чем сколько вышло из нее в 24 года ее существования до поступления в руки Новикова. Он издавал книги довольно разнообразного содержания, особенно заботясь о печатании книг духовно-нравственных и учебных. В числе 366 книг, отпечатанных им до конца 1785 г., менее чем в 7 лет аренды, насчитываем около сотни изданий первого рода и более 30 учебников, разноязычных букварей, словарей, грамматик и т. п.

МОСКОВСКОЙ
ЖУРНАЛЪ.

J'ai toujours senti que l'état d'auteur n'était, ne pouvait être illustre & respectable qu'autant qu'il n'était pas un métier.
Ж. Ж. Руссо.

Часть VI.

МОСКВА,
Въ Университетской Типографіи.
у В Окорокова.
1792 года.

МОСКОВСКОЙ ЖУРНАЛЪ.
Часть шестая. Книжка третія.
Мѣсяцъ Іюнь.

I.
СИЗОЙ ГОЛУБОЧИКЪ.
Пѣсня.

Стонетъ сизой голубочикъ,
Стонетъ онъ и день и ночь;
Его миленькой дружочикъ
Отлетѣлъ далеко прочь.

Онъ ухъ болѣ не воркуетъ
И пшенички не клюетъ;
Все тоскуетъ, все тоскуетъ
И тихонько слезы льетъ.

Съ нѣжной вѣтки на другую
Перепархиваетъ онъ,
И подружку дорогую
Ждетъ къ себѣ со всѣхъ сторонъ

Часть. VI. П Ждетъ

Титульный лист и начальная страница из «Московского журнала»

Новиков нашел деятельную поддержку в образовавшемся из его друзей, по мысли Шварца *Дружеском ученом обществе*, которое при торжественном открытии своем в1782 г. объявило одной из своих задач печатание и даровую раздачу учебных книг

по школам. Указ 1783 г. о вольных типографиях дал возможность обществу завести две собственные типографии на имя своих членов – Новикова и Лопухина. Потом, в 1784 г., завелась еще обширная компанейская типография, когда из дружеского кружка Новикова образовалось издательское товарищество на паях под фирмой *Типографской компании*, со складочным капиталом в 57 500 руб. (более 150 тыс. руб. на наши деньги) и с поступившим от Новикова запасом книг на 320 тыс. руб. по продажной цене.

При таких средствах Новиков превосходно устроил сбыт книг, завел комиссионеров, вступил в сношение с петербургскими книгопродавцами и вообще чрезвычайно оживил книжную торговлю в России. Случилось неслыханное дело: книжная лавка Новикова уВоскресенских ворот по спросу ее товара стала соперничать с модными магазинами Кузнецкого Моста. Вместо двух существовавших в Москве книжных лавок с оборотом в 10 тыс. руб. при Новикове и под его влиянием явилось их здесь до 20, и книг продавали они ежегодно тысяч на 200 руб. Ежегодный доход *Типографской компании*, по показанию Новикова, простирался свыше 40 тыс. руб., доходя в иные годы до 80 тыс. руб. О размерах предприятия можно судить по тому, что, после закрытия компании в 1791 г., когда все дело ее было разрушено, несмотря на обширный сбыт изданных ею книг, их оставалось еще по каталожной цене без малого на 700 тыс. руб. (более1 1/2 млн на наши деньги), не считая 25 тыс. экземпляров книг, сожженных или переданных в Духовную академию и университет.

Трудно сметить даже на глаз, какие успехи достигнуты были такими усилиями. Люди, близкие к тому времени и к самому Новикову, утверждали, что он не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению. Благодаря широкой организации сбыта и энергическому ведению дела, новиковская книга стала проникать в самые отдаленные захолустья и скоро не только Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Если частный случай что-нибудь доказывает, я приведу библиографическую подробность из своего детства: в деревенской глуши, где нецерковная книга была большой редкостью, мне попались две изданные Новиковым поэмы – «Иосиф Битобэ» и «Потерянный рай» Мильтона[11] и вместе с альманахом Карамзина «Аглаей» были в числе первых книг, мною прочитанных. Новиков хотел сделать чтение ежедневною потребностью грамотного человека и, кажется, в значительной мере достиг этого. Число подписчиков «Московских Ведомостей», издание которых он взял на себя вместе с арендой университетской типографии, при нем увеличилось всемеро (с 600 до 4 тыс.). При них выходили прибавления разнообразного

содержания: по литературе, сельскому хозяйству, натуральной истории, химии и физике, также листы для детского чтения.

Не упоминаю о других московских периодических изданиях Новикова. Он был не только типографщиком и книгопродавцем, но и издателем, выбирал, что нужно печатать, заказывал работы переводчикам и сочинителям, небывалым гонораром оживил переводную и оригинальную письменность, отдавая предпочтение произведениям научным и духовно-нравственным. Этим он внес в текущую литературу того времени новую струю, шедшую против господствовавшего направления умов и литературных вкусов тогдашнего светского общества. Книжная лавка Новикова, откуда шла эта струя, получила своеобразный вид, и в ней бывали характерные сцены: приходил покупатель, рылся вкнижных новостях, разложенных на прилавке, находил все издания духовно-нравственного содержания, которых не хотел покупать, спрашивал, почему нет романов; Новиков отвечал, что переводчики что-то перестали носить ему такие сочинения, и, набрав связку книг, какие были на прилавке, просил покупателя принять их от него в дар. После сам Новиков показывал следователю об усилении спроса на духовные книги, а один из учеников Новикова писал, что целое море душеспасительных книг было им пущено против потока вольнодумческих сочинений.

В продолжение 10 арендных лет издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику. Сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещенное общество – общественное мнение. Я едва ли ошибусь, если отнесу его зарождение к годам московской деятельности Новикова, к этому *новиковскому десятилетию* (1779–1789). Типографщик, издатель, книгопродавец, журналист, историк литературы, школьный попечитель, филантроп, Новиков на всех этих поприщах оставался одним и тем же – сеятелем просвещения.

Это новиковское десятилетие – одна из лучших эпох и в истории Московского университета. В тот год, когда Новиков взял в аренду университетскую типографию, этот университет доживал свое первое двадцатипятилетие. Но он еще не успел докончить своего обзаведения: были аудитории и кафедры, профессора и студенты, были обстановка и личный состав науки, но сама наука с трудом пробивалась сквозь то и другое, не успела

еще обжиться на новоселье. Число студентов в иные годы не доходило и до сотни. Иногда на всем юридическом, как и на всем медицинском факультете, оставалось по одному студенту и по одному профессору, который читал все науки своего факультета.

Студенты занимались в университете не более 100 дней в году; родной речи почти не слышно было с кафедр. Люди хорошего общества еще побаивались пускать в университет своих сыновей; благовоспитанность не всегда примечалась и порой как будто даже совсем отсутствовала. У Новикова литературная и издательская деятельность еще в Петербурге неразрывно соединялась с педагогической и благотворительной: с кружком тамошних друзей он основал два училища для бедных детей и сирот и в пользу этих школ назначил выручку от издававшегося им журнала «Утренний Свет». Московский кружок по господствовавшему в нем направлению умов мог только усилить и расширить деятельность, начатую Новиковым в Петербурге. Главным дельцом по воспитательной части стал, разумеется, Шварц. Приготовление учителей было настоятельнейшею потребностью русского просвещения.

Став профессором в 1779 г. и по поручению университета составляя учебники и проекты улучшении преподавания, Шварц набрал у своих друзей пожертвований, присоединил к ним 5 тыс. руб. своих кровных сбережений и в конце того же года открыл при университете *учительскую семинарию*, в которой стал инспектором и начал преподавать педагогику. Так началась деятельность открывшегося позднее «Дружеского ученого общества», которое чрез епархиальных архиереев стало вызывать из духовно-учебных заведений лучших учеников, чтобы приготовлять их на свой счет к учительскому поприщу в университетской семинарии. Через 3 года той семинарии было уже до 30 стипендиатов, на содержание которых Общество давало по 100 руб. на человека, купив притом дом для их помещения; в числе их находились два будущие с. – петербургские митрополита: Михаил и Серафим.

Задумав переводить и издавать лучшие иностранные сочинения и желая заготовить себе хороших переводчиков, в которых чувствовался крайний недостаток, «Дружеское общество», по мысли Шварца, в 1782 г. учредило при университете другую семинарию, переводческую, или филологическую, в которую приняло 16 студентов. Из них шестеро переведенных из духовных семинарий содержались на средства уже известного нам Татищева, остальные – на счет других членов кружка. Лучших своих питомцев «Дружеское общество» посылало для довершения образования за границу.

Заботы Общества распространялись на всех студентов: им подыскивали занятия, заказывали литературные работы, переводы и статьи для изданий Общества. Студенты, преимущественно питомцы Общества, были сотрудниками и даже руководителями периодических изданий Новикова – «Вечерней Зари» 1782 г. и «Покоящегося Трудолюбца» 1784 г. Неугомонный педагог Общества не ограничивался этим: ему хотелось снабдить выходящего из университета студента возможно обильнейшим запасом надобного в пути багажа.

Сверх лекций в университетской аудитории об эстетической критике он читал еще усебя на дому приватный курс о видах познания и особый курс «философской истории» для семинаристов Общества, к которым присоединялись и посторонние слушатели «всякого рода и звания», по выражению одного из них. Эти домашние лекции превращались сами собой в публичные курсы. Их цель обнаруживалась в их действии: они противодействовали вольнодумству.

В этом направлении, может быть, наиболее сильное влияние имело на студентов устроенное Шварцем *Собрание университетских питомцев*. Это было если не первое, то, наверное, второе в России общество, составленное из учащейся молодежи. Это студенческое общество имело целью образование ума и вкуса своих членов, их нравственное усовершенствование, упражнение в человеколюбивых подвигах. Студенты на заседаниях читали и обсуждали свои литературные опыты, произносили речи на моральные темы, задумывали издания с благотворительною целью.

Все это, конечно, было молодо, суетливо, немножко нервозно. Молодежь больше чувствовала, чем познавала науку. Но по-тогдашнему и это разве было мало? В штатных лампах науки, прежде больше декорировавших, чем освещавших университетские стены, что-то затеплилось: дайте срок – они разгорятся. Среди студентов стали зарождаться нравственная товарищеская солидарность, наклонность к размышлению, некоторый навык самонаблюдения и та способность загораться от идей, которая, как фонарь впотьмах, предшествует исканию истины. Трудно проследить поприща, по которым рассыпались питомцы «Дружеского общества», как трудно уследить, куда попадали книги, которые оно рассеивало. Известно, что оно дало Московскому университету одного директора (т. е. ректора) и пять профессоров.

Так кружок Новикова стал посредником, через которого завязалось тесное нравственное общение между московским обществом и Московским университетом. Эта связь не прервалась

с исчезновением связующего звена, поддерживаемая взаимным нравственным тяготением и обоюдными научными услугами. Общество дало университету несколько профессоров, ожививших университетское преподавание. Университет, со своей стороны, немного позднее воспитал в своих аудиториях профессоров, ожививших общественную мысль и не раз собиравших московское общество на студенческих скамьях. Нет нужды напоминать всем памятные имена их. Кажется, университет не остался вдолгу перед Обществом. Да и зачем им сводить счеты между собою? Ведь они оба будут тем богаче, чем больше задолжают друг другу.

Наиболее распространенная марка типографии Н. И. Новикова

notes

Примечания

1

Сэмюэл Ричардсон (1688–1761) – английский писатель; автор романов «Кларисса», «История сэра Чарльза Грандисона» и др.

Жан Жак Руссо (1712–1778) – французский философ-просветитель, писатель. Сотрудничал в «Энциклопедии». Сочинения: «Об общественном договоре» (1762), «Рассуждения о науках и искусствах» (1750), «Эмиль, или О воспитании» (1762), «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), «Исповедь» (1766–1769) и др.

2

Яков Борисович Княжнин (1742–1791) – писатель. Учился в 1750–1755 гг. в гимназии при Академии наук. С 1762 г. на военной службе. В 1778 г. – секретарь И. И. Бецкого. Член Российской академии с1783 г. Автор трагедий «Росслав» (1784), «Вадим Новгородский» (1789), комедий, переводов Вольтера, П. Корнеля, К. Гольдони и др.

3

Голубиная книга, или *Глубинная* – получила свое название от глубины заключенной в ней премудрости. Представляет собой народный духовный стих, изложенный в вопросах и ответах, рассказывает о космогонии мира.

4

Христиан Гольбах (1690–1764) – математик, академик Петербургской Академии наук с 1725 г. В 1725–1740 гг. конференц-секретарь Академии наук. С 1742 г. служил в Коллегии Иностранных дел.

5

Иван Владимирович Лопухин (1756–1816) – русский государственный деятель, сенатор, публицист. С 1780-х гг. деятель масонства (орден розенкрейцеров). В 1783 г. масонское «Дружеское общество» открыло в Москве две типографии: одну – на имя Н. И. Новикова, другую – на имя И. В. Лопухина.

6

Иван Григорьевич Шварц (ум. в 1784 г.) – писатель. Приехал в Москву в 1776 г., экстраординарный профессор немецкого языка в Московском университете с 1779 г. и инспектор педагогической семинарии при университете.

7

Семен Иванович Гамалея (1743–1822) – один из деятелей новиковского кружка, благотворитель, известен под именем «Божий человек». Учился в Киевской духовной академии, служил в Сенате и Канцелярии московского генерал-губернатора. В 1830-х гг. опубликована его переписка с Новиковым, Лопухиным, Карамзиным, Тургеневым и др.

8

Иван Петрович Тургенев (1752–1807) – директор Московского университета. Отец декабристов Николая и Александра.

9

Михаил Матвеевич Херасков (1733–1807) – писатель, поэт, просветитель, сын валашского боярина, выехавшего в Россию в начале XVIII в. Учился в Сухопутном шляхетском корпусе, служил в армии, затем в Коммерц-коллегии; в 1755–1802 гг. – в Московском университете (заведующий типографией, директор, куратор); создатель Московского благородного пансиона, студенческого театра; активный деятель масонства. Автор трагедий, поэм, од, басен, повестей; издатель журналов «Полезное увеселение», «Невинное развлечение», «Свободные часы». В творчестве Хераскова прослеживается переход от классики к сентиментализму.

10

Иоанн Масон. Познание самого себя. М., 1783. Ч. I–II.

11

Джон Мильтон (1608–1674) – английский поэт, политический деятель, участник Английской революции. В 1632 г. окончил Кембриджский университет, магистр искусств. Автор памфлетов 1640-х гг. – «Ареопагитика», «Иконоборец», «Защита английского народа». В 1649–1652 гг. в должности «латинского секретаря» вел международную государственную переписку. Соч.: «Потерянный рай» (1671), трагедия «Самсон-борец» (1671), «История Британии» (1670) и др.